

Н. И. ТОЛСТОЙ

1 СТРАНИЦА ГЛАВЫ

Мне посчастливилось студентом общаться с этим удивительным человеком на кафедре русского языка и литературы, куда я перешёл по влечению сердца спустя год тщательного изучения тайн английского произношения на романо-германском отделении.

Никиту Ильича можно было узнать изда-лека. Высокого роста, одетый с безукоризненным вкусом, с длинной дореволюционной профессорской бородой, он отличался открытым, неизменно благожелательным выражением лица. Сейчас, когда я стал священником, по глазам человека почти всегда догадываюсь, что имею дело с православным христианином. Людям, просвещённым благодатью Божией, свойственна особая теплота взора, которую ни с чем не перепутаешь. Когда с этим качеством соединяются подлинная культура, хорошее воспитание, широкие познания и жизненная мудрость, человек представляется прекрасным. Иного

слова и не подберёшь. Возраст только добавляет величия, уживающегося со скромностью, и того неподражаемого очарования, в котором уже нет ничего плотского и чувственного, но которое завоёвывает собеседника без насилия, незаметно умягчая его сердце.

Н. И. Толстой, доктор филологических наук, профессор, заведующий сектором этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики РАН, академик АН СССР, иностранный член многих зарубежных академий наук, конечно, не мог днём и ночевать в Университете. Зато когда он появлялся в его коридорах на девятом и десятом «филологических» этажах, то по праву становился центром всеобщего внимания. Мы, студенты, благоговели перед этим светилом. Никиту Ильича любили за его профессорское великодушие и подлинно графское благородство в отношении учащихся. Он относился к нам с удивительным тактом и уважением, умея видеть в каждом из нас личность. Я бы сказал, что

некоторые «замухрышки от филологии» (говорю о себе), пообщавшись в течение нескольких минут с этим осколком великой империи, внутренне ободрялись и избавлялись от того, что принято называть комплексом неполноценности.

Н. И. ТОЛСТОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ...

С горечью теперь припоминаю, что иные студентки, поступив на филологический факультет и не имея в себе нравственного стержня, начинали стесняться собственной «непросвещённости» в определённых вопросах. Бедняжки стремились как можно быстрее избавиться от тягостного для них детства, по глупости считая, будто душевная и телесная чистота служит препоной для их «социализации», то есть вхождения в современное общество на равных правах с окружающими. Сколько таких несчастных «трясогузок», бездумно и безумно бросив цветков непорочности в грязь «служебных романов», обрекли себя на дальнейшее прозя-

бание и по существу лишились возможности сделать правильный выбор, оставшись пустоцветом в наше холодное и лукавое время! И именно Никита Ильич возвращал своим студенткам понимание достоинства женщины.

Вот он идёт по коридору мимо открывающихся и с громким стуком захлопывающихся полупрозрачных дверей студенческих аудиторий. Взад и вперёд движется разношёрстная и многоликая толпа учащегося юношества. Распущенные волосы, сравнительно недавно вошедшие в общее употребление джинсы (по которым, между прочим, можно судить о всех недостатках фигуры), растянутые свитера и небрежно накинутые на плечи куртки, сумки; шум, гам... мельтешение... Однако вокруг потомка яснополянского графа тотчас образуется свободное пространство. Так шляпки и ботинки предпочитают держаться на почтительном расстоянии от многопалубного пассажирского судна. Никита Ильич при ходьбе благородно опирается на раритетную трость из красного дерева с набалдашником (не из семей-

ных ли кладовых?), на правой руке его виден крупный фамильный перстень. В старину такие использовали для проставления печати на ценных родовых бумагах и документах. И при этой массивности, величавости – светлый взгляд, обдающий всех «встречных и поперечных» искренней симпатией, побуждающий к взаимной открытости и неравнодушию. Граф успевает учтиво раскланяться с едва знакомыми людьми, сказав каждому приятное или просто доброе слово (а кто в этом ныне не нуждается?). Но вот к нему подходят две студентки, заметно робея и потому прячась друг за друга...

– Чем могу вам послужить, милые мои? – приветливо встречает их профессор, смотря не на зачётки в руках, а на них самих, не знающих, куда деть глаза от смущения.

– Никита Ильич, простите, мы из вашего семинара... не смогли прийти вовремя на зачёт...

– Но позвольте прежде поинтересоваться, как вас зовут?

С этими словами граф почтительно склоняется в сторону каждой, изящным движением берёт ручку и деликатно, как истинный джентльмен, целует её. Затем он осведомляется, какой раздел «должница» хотела бы сегодня сдать. После двух-трёх дополнительных вопросов ставит росчерком пера зачёт в студенческом документе... и продолжает своё шествие (словно по Невскому проспекту или где-нибудь на водах в Карловых Варах). А позади него – застывшие ошарашенные девушки, ещё не готовые поверить в свою удачу...

Ну как же нам было не любить Никиту Ильича, уникального, неповторимого и ни с кем не сравнимого?!

Счастьем почиталось попасть вместе с ним в диалектологическую экспедицию в Белорусское Полесье, откуда восторженные студенты привозили, помимо профессиональных материалов, замечательно интересные истории, в том числе и рассказы об общем любимце.

О нём ещё при жизни на факультете хо-

дили легенды. Так называемые студенты-рабфаковцы, прошедшие армию и побывавшие в различных переделках, уважали графа за то, что он, по их собственным донесениям, «не пил водку Великим постом». Многим из них само понятие «Великий пост» становилось знакомым благодаря этому занятному факту из личной биографии академика.

Провожая однажды на Белорусский вокзал ватагу молодых филологов, среди которых возвышался, как Иван Великий, наш профессор, я почувствовал непередаваемую словом атмосферу университетского братства, содружества мэтра и его последователей, радующихся самой возможности разделять с ним подобные, не лишённые невинной романтики путешествия.

Храню в памяти единственное посещение толстовского жилища на Большой Ордынке, совсем неподалёку от храма «Всех скорбящих Радость»²⁵. Просторные комнаты с высокими потолками, сплошь заставленные книжными шкафами с литературой на всех

европейских языках. Никита Ильич сидит в креслах (предварительно усадив бедного студентика напротив себя), близ него – бронзовый бюст Льва Николаевича Толстого, сумрачный взор которого так не вяжется с благоуветливостью его прямого потомка.

Признаюсь, я часто огорчал своего научного руководителя отсутствием серьёзного отношения к лингвистическим штудиям. Виной тому было не только легкомыслие, но и очень непростой для меня этап воцерковления. Что было причиной потери душевного равновесия, я расскажу читателям в других главах своих воспоминаний. Сейчас отмечу лишь то, с какой бережностью и терпением Никита Ильич возился со мной – типичным неофитом, способным лишь к неуклюжим крайностям и совершенно лишённым чувства гармонии и золотой середины.

– Артемий, ободритесь, поверьте: Московской духовной академии нужны образованные филологи, – говорил он с такой нежной убедительностью, которая была бы гораздо

естественнее в устах бабушки, души не чающей в своих повзрослевших внуках, нежели знаменитого профессора, почти не имеющего времени возиться с неучами и митрофанушками. Мог ли я в те годы предполагать, что его слова, лишь косвенно обличавшие мою студенческую несостоятельность, были ничем иным, как пророчеством, сбывшимся шесть лет спустя, в 1986 году, когда я был приглашён в Московские духовные школы преподавать русский и старославянский языки! А тогда в уютном профессорском жилище, пред лицом корифея отечественной славистики я и не мог испытывать ничего, кроме стыда! Скажу более, Никита Ильич в определённом смысле явился для меня и моей будущей матушки «сватъей бабой Бабарихой», неоднократно, но очень осторожно намекая, чтобы мы, его «филологические цыплята», обратили внимание друг на друга, что и сбылось несколько позже, под занавес учения в Alma Mater.

В заключение своего очерка поделюсь с читателями сведениями, несомненно, представляющими и общецерковный интерес.

Никита Ильич как-то со свойственной ему искренностью рассказал мне о своей юности, которая прошла в Белграде – центре жизни первой волны русской эмиграции. Из его воспоминаний, мне доверенных, я особенно чётко запомнил следующее. Мальчиком Никита имел общение с церковным главой Русского Зарубежья митрополитом Антонием (Храповицким). Тот, приглубив даровитого потомка хорошо известного ему рода, показал Никите²⁶ драгоценную панагию, подаренную митрополиту будущим Патриархом Московским и всея Руси Сергием (Страгородским). На обратной стороне панагии была выгравирована надпись, обращённая одним иерархом Русской Церкви (на территории Советского Союза) к его собрату (в странах рассеяния): ...Дадите нам от елєя вашего, яко светильницы наши угасают...²⁷

Разделённые государственными границами, находясь в политически враждебных лагерях, мудрые иерархи Русской Церкви, оказывается, втайне молились друг за друга,

веря, что настоящее «прейдет», а будущее обратится к прошлому – и Русская Церковь изволением Божиим вновь обретёт каноническое единство.

Доблестный служитель чистой науки, Никита Ильич Толстой, внося неоценимый вклад в православную культуру и в дело единения братских славянских народов, с миром отошёл ко Господу в 1996 году. Убеждён, что благодаря нашему научному руководителю десятки учеников и студентов пришли к Православию без малейшего нажима с его стороны...

Пустовато стало нынче в гулких коридорах первого гуманитарного корпуса МГУ, несмотря на обилие учащихся и учащихся. Но чудится мне: нет-нет, а появляется иногда в коридорах филфака столь хорошо знакомая благородная фигура русского рыцаря славистики, с жезлом из красного дерева, с родовым перстнем на руке и с той обаятельной и доброй улыбкой, которую забыть невозможно...

ПРОСВЕТИТЕЛИ

Многие ещё в советское время называли филологический факультет христианским, и не без оснований. Да и мог ли он быть не таковым (несмотря на бдительное око государственной идеологии), почивая на фундаменте христианской культуры Европы? Само изучение словесности, особенно вдумчивое и неспешное, что весьма свойственно филологам, помогает «книжному червю» обрести крылья духа и убеждает его в царствовании над всем и всеми предвечного Слова...

Те же, кто обрели в себе слово, живое и действенное, конечно же, не могли утаить его от нас, студентов, повсюду искавших крохи истины; а если и не искавших, то «гладом гибнувших» без неё и потому всегда чутко отзывавшихся на голос правды.

Позвольте мне назвать таким герольдом правды и красоты, «спасающей мир», замечательного филолога-«классика» с исторического факультета, настоящего русского

учёного-христианина Андрея Чеславовича Козаржевского, об учебнике которого я ранее упоминал. Ревнитель московской старины, непревзойдённый знаток улочек и переулков многострадальной столицы, помнивший все её храмы (как уничтоженные, так и уцелевшие), он был поистине просветителем университетских студентов (а может быть, и не только их). Не похваляюсь коротким знакомством с этим на удивление энергичным пожилым человеком, в каждом жесте, слове, взоре которого сквозили разумная, добрая воля и мудрое, выношенное сердцем знание. Поделюсь впечатлениями об одной-единственной его лекции с показом диапозитивов, на которую я попал как бы случайно.

Андрей Чеславович демонстрировал слайды с фотографическими изображениями древних фресок и икон византийского времени. Собственноручно выполняя работу видеотехника, он с великим тщанием помещал в проектор новые и убирал просмотренные слайды, комментируя каждый

из них хорошо поставленным «педагогическим» голосом, выдававшим в нём старомосковского интеллигента, человека духовно и нравственно просвещённого.

Он привлёк наше внимание к фреске под куполом, тщательно прописанной средневековым мастером, но расположенной таким образом, что снизу увидеть её было практически невозможно. Помнится, меня поразил тогда его вопрос.

– Как вы думаете, – обратился профессор искусствоведения к студенческой аудитории с юношеским волнением в голосе, – для кого иконописец созидал этот шедевр, не упуская ни одной, даже самой малой детали, требуемой каноном, и при этом прекрасно зная, что на земле некому будет оценить его кропотливейший труд?

Вопрос, казалось, и не требовал ответа. В моём сознании, которое находилось тогда в полном мировоззренческом хаосе, само собою высветилось таинственное слово Бог, отозвавшееся непонятной радостью в глубинах души...

Одно из главных достоинств таких глашатаев истины, представителем которых был Козаржевский, – это высочайшая эрудиция и универсализм знаний. Я могу сравнить этих людей с нагруженными до отказа богатством: парчой, пряностями, самоцветами и прочим дивом – кораблями, прибывшими на родину после кругосветного путешествия. Время накопления и умножения сокровищ позади, теперь можно щедро одаривать всех нуждающихся и делиться с соотечественниками опытным знанием. Нередко мы, современные проповедники, из кожи лезем вон, являя собой в лучшем случае популяризаторов, а в худшем – агитаторов, заседающих на аудиторию, дабы она не смела не поверить нам... И на фоне наших жалких потуг как хороши и просты эти «хранители предания», «ходячие энциклопедии», а прежде всего, благородные, честные и чистые русские люди, посредством великой культуры высвечивавшие молодёжи Христову истину...

Но самым первым «словесным рыбаком»,

кто ненарочито уловил мою душу в евангельскую мрежу, был, пожалуй, скромный и тихий Вячеслав Андрианович Грихин, видный специалист по древнерусской литературе, семинар которого прежде меня открыла моя будущая супруга (тогда студентка первого курса отделения русского языка и литературы). Во многом благодаря ей я осмелился осуществить это странное и непонятное для многих предприятие: перевестись с романо-германского отделения, в английской группе которого я учился на «отлично», и искать заветное перо жарптицы, а именно – осмысления своего житья-бытья, на русском отделении... Душа мучительно жаждала духовного света. Овладев классическим английским произношением, она перестала удовлетворяться безупречно выговариваемыми звуками чужого языка, но искала постижения сути, сущности слова... И всё же, не отличаясь ни отвагой, ни умением принимать волевые решения, я, наверное, никогда бы не решился на бегство с высот престижного «ром-

герма», почитавшего в своей мнимой само- достаточности русское отделение не более чем ссылкой, если бы...

Если бы в один прекрасный день Елена (с которой я успел познакомиться на кар- тошке) не привела меня на спецкурс Вяче- слава Андриановича Грихина по древнерусской литературе... Я увидел ещё не пожилого, крупного мужчину с несколько рыхлым лицом и тёмными кругами под гла- зами. (Позднее я узнал о его сердечной бо- лезни, безвременно сведшей даровитого учёного в могилу.) Не внешность, но голос привлекал к нему внимание его собеседни- ков. Удивительно мягкий, густой баритон с бархатными нотками, по которому можно было догадаться о сокровенном... Ведь от- ношение к предмету прежде всего выдаёт интонация и расставляемые человеком смы- словые акценты. Вячеслав Андрианович «так искренно, так нежно» говорил о древ- нерусской книжности, что его привержен- ность Православию не могла быть завуалирована никаким безупречно акаде-

мичным, «объективным» стилем изложения материала. Тогда я ещё не мог делать такого рода выводов по своей не то что духовной неискренности, но полной растерянности в мире идей и нравственных понятий.

И вдруг случилось нечто совершенно не- обычное, застигнувшее меня врасплох и за- ставившее принять кардинальное решение – выбрать в качестве призвания русскую фи- лологию! Вячеслав Андрианович сказал: «А сейчас я прочитаю вам так называемый Никео-Цареградский Символ веры, пред- ставляющий собой la confession de foi – ис- поведание веры – каждого древнерусского летописца». С чувством, толком, расстанов- кой, лишь не налагая на себя крестного зна- мения, он ровным тоном, мерно и благоговейно (как в церкви) стал произно- сить речитативом:

«Верую во Единого Бога Отца Вседержи- теля...

И во Единого Господа Иисуса Христа...

И в Духа Святого, Господа Животворя- щего...»

Я очнулся только тогда, когда он изрёк слово «аминь», изложив все, один за другим, двенадцать членов Символа веры... Ничего подобного я ранее и не слыхивал!

Семинар потёк своим чередом с его вопросами, развёрнутыми ответами. Обсуждались категории времени и пространства в средневековом философском понимании; а я ещё повторял про себя (так мне сейчас кажется) слово «верую», столь необычное, мужественное и возвышенное... Как бы то ни было, но ради этого слова я совершил необъяснимый для моих друзей и большинства педагогов «побег»... Заявив о своём непреклонном намерении перейти на русское отделение, я взял в качестве «выкупа» около десяти «хвостов»³², то есть дисциплин, которые мне необходимо было досдать, чтобы влиться в общий учебный процесс на новом месте. Вчерашний фаворит английского отделения, «мальчик»³³, добровольно спустился с «романо-германского Монмартра», с намерением натирать мозоли в низинах русской диалектологии и из-

немогать в неравной схватке с гипотетическим праславянским языком... Отныне мне надлежало выходить к свету целостного христианского мирозерцания мучительным путём проб и ошибок – *per aspera ad astra*³⁴.

С Вячеславом Андриановичем Бог свёл меня, и весьма близко, после окончания Университета, когда ещё светским (но уже не советским) преподавателем стилистики русского языка в Московской семинарии я обратился к нему за помощью. Духовная академия готовилась к какому-то очередному славному юбилею, и владыка-ректор³⁵ попросил меня подготовить обзорную статью-доклад по древнерусской литературе. А я, желая перевести стрелку на достойнейшего, предложил для этого кандидатуру университетского специалиста по данной теме – В. А. Грихина. Ректор охотно согласился и определил сроки, к которым я должен был добыть драгоценный материал. Слава Богу, Вячеслав Андрианович не отказал в моей просьбе, но, как это часто бывает, по недосугу всё не при-

сылал статьи. Наконец за сутки до назначенного дня встречи с ректором я получаю приглашение Грихина пожаловать к нему домой. С заметным волнением, но и не без благой надежды в душе я переступил порог его скромной московской квартирki где-то на выселках. Научные фолианты и папки с кандидатскими работами, казалось, занимали собой всё пространство и грозились выжить хозяев из дома. Вячеслав Андрианович, любезно улыбнувшись, пригласил меня на кухню к столу. Насколько помню, дело было в среду. Со сковородки аппетитно запахло жареным мясом.

– Простите, Вячеслав Андрианович, но, кажется, сегодня постный день...

– А вы, Артемий, не смущайтесь, – спокойно ответил хозяин, – вы же мой гость и всё можете есть без исследования. Я не считаю нужным приводить вам пример, как принимал своих друзей-христиан святитель Спиридон Тримифунтский, поставив им на стол свинину Великим постом со словами: «Вы ведь не иудеи!»

Зная, что по части агиографии мне не переспорить университетское светило, я безмолвно повиновался (прости меня, Господи!)

Но как же статья? Вячеслав Андрианович явно не спешил мне её показывать... Выкушав чашечки по две чаю, мы перешли с кухни в гостиную, очевидно, служившую для доцента и кабинетом.

– Ну, теперь садитесь, берите ручку, вот вам листы чистой бумаги... и записывайте.

Справившись с удивлением и одновременно со смущением, я мгновенно вспомнил студенческие навыки и стал почти дословно конспектировать живую речь, полившуюся из уст русского книжника.

Не помню, сколько часов мы работали, но материал был исчерпывающим!.. От бессмертного шедевра митрополита Илариона³⁶, первых житий и похвальных слов Киево-Печерского патерика – до «Сказания о Мамаевом побоище» и «Моления Даниила Заточника»! Яркие, запоминающиеся примеры, прямые и косвенные ци-

таты, смелые сравнения и аллюзии. Там было всё!

С благодарностью я уходил от гостеприимного и виртуозно владеющего своим предметом утомлённого маэстро, чувствуя лёгкий укол совести, что заставил его выложиться на все сто...

В Академии статью приняли вполне благосклонно... и вскоре забыли про неё; ведь не мог же я поведать начальству, с какими трудами и потами она рождалась у меня на глазах...

Позвольте мне сказать несколько слов ещё и о Михаиле Викторовиче Панове, знаменитом специалисте по фонетике русского языка, создателе замечательной фонетической системы. Её удивительная многогранность сочеталась с предельной ясностью и видимой простотой. Впрочем, Панова чтили на филфаке и как непревзойдённого знатока русской поэзии, особенно поэтов Серебряного века.

Нужно было видеть тот здоровый ажиотаж, который царил в небольшой аудито-

рии, куда неспешно направлял свои стопы совершенно невозмутимый Михаил Викторович. Внешне он чем-то напоминал мне Святослава Рихтера: седенький, с большой залысиной, живыми светлыми глазами и на редкость неторопливый.

Стулья ставились где можно и нельзя; прямо на полу перед докладчиком красовалась целая батарея внушительных по размеру записывающих устройств³⁷. Народ сидел, стоял, просовывал головы в полуоткрытую дверь – можно было подумать, что где-то в предместьях Лондона идёт «полуподпольная» премьера шекспировского «Гамлета», месяц спустя написания этой бессмертной трагедии.

Говорил Михаил Викторович тихо и размеренно, тщательно обдумывая каждое слово. Но как говорил! Свободно цитируя по памяти Блока и Пастернака, Мандельштама и Гумилёва, сосредоточивая наше внимание на особенностях художественной системы каждого из поэтических направлений, он, однако, не расчленял целостные

произведения на сегменты. Лектор старался донести до нас аромат самой поэзии, утончённой, как и сами её создатели, хотя и не всегда прозрачной по смыслу, несмотря на кристальность образов и изящную мелодику стиха...

Как бы то ни было, но филологические беседы-размышления Панова давали понимание сокровенного внутреннего мира человеческой души, представлявшейся мне благоуханным роскошным соцветием, к которому и подойти-то страшно, не то что шумно втянуть в себя воздух, уткнув нецеломудренные ноздри в нежные, податливые лепестки...

После его лекций не хотелось замечать грубого, неделикатного обращения людей друг с другом, а уж обкатанные молодёжью студенческие жаргонные словечки просто не шли на ум... Мне ничего не известно об отношении Михаила Викторовича к вопросам духа и веры – тогда ведь и не было принято об этом распространяться, тем паче кому-то навязывать свои убеждения. Но

только... годами позже я вспоминаю его негромкий и высокий, как у ребёнка, голос, светлое выражение умного и доброго лица – и на сердце делается «так легко, легко»...

P.S. Моя супруга, матушка Елена, преподавая в церковно-приходской общеобразовательной школе русский язык, не без успеха изучала с самыми маленькими звуки, применяя фонетическую систему любимого ею Михаила Викторовича Панова. Дети на удивление быстро схватили университетскую премудрость, усвоив самую суть науки о звуках, которые варьируются в их изменениях, но могут быть сведены к нескольким основным. Всё это особым образом отражается на письме и закрепляется в русской орфографической системе. А как нелегко находить соответствие между звуком и буквой, помнят, быть может, некоторые из наших читателей, потому что и сами когда-то учились в первом классе...

ИЗБАВЛЕНИЕ

1 И 2 СТРАНИЦЫ ГЛАВЫ

Как по-разному, дорогие мои собеседники, можно судить о влюблённости, о том, что большинству из нас, несомненно, хорошо знакомо и что мы с улыбкой вспоминаем, оборачиваясь мысленно к годам своей ушедшей юности.

Одним образом воспринимается влюблённость подростками, для которых вдруг начинают «сады цвести»; иначе оценивают её родители, сами испытавшие некогда то же удивительное чувство, когда придирчиво взирают на своих уязвленных «стрелой любви» отпрысков. Прав, прав премудрый царь Соломон, изрекший, что каждой вещи своё место под солнцем⁴⁰. Пусть всё приходит в надлежащее ему время. «Важен результат», – говорят практики.

Для кого-то из молодых людей влюблённость оборачивается плотским падением и потерей девства вне ограды установленного Богом супружества. Не мне вам гово-

рить, что ныне творится в нашем Отечестве, разучившемся в духе доброй нравственности воспитывать сбиту с толку молодёжь. Зачастую и сама-то влюблённость почитается испытанными всё и вся подростками-переростками смешным анахронизмом, не стоящим никакого обсуждения. Лишённые и лишившие себя высокой романтики любви, бедные современные митрофанушки, с их преждевременной усталостью от жизни, очень быстро опускаются и морально, и физически, превращаясь в юных старичков.

А иных влюблённость окрыляет, заставляет работать над собой, приподымает над обыденной, серой действительностью, сообщая им силы и вдыхая в них целеустремлённость. Так бывает, если полюбившие друг друга молодые люди стараются не нарушать определённых границ в общении, видя в семье великий Божий дар, ради которого можно и должно сразиться с самим собой и с немощью собственной плоти, чтобы впоследствии с чистой совестью и ра-

достным сердцем ступить на белоснежный плат венчания.

Не скрою: некоторые православные писатели прошлого именовали влюблённость болезненным состоянием, мешающим духовному саморазвитию человека... Что они имели в виду? Я думаю, видели опасность для юного христианина в невольной идеализации предмета своей любви, когда человек, забывая Творца, не чувствует нужды в Его животворящей благодати, но всецело направляет «души прекрасные порывы» к той земной личности, без которой, кажется, не в состоянии прожить ни минуты. Теряя равновесие внутренних сил, молодой человек лишается и естественного дара рассудительности, становится способным к импульсивным, непродуманным поступкам, бывает склонен в одиночасье самостоятельно принимать такие решения, о которых вскоре ему приходится горько жалеть.

Однажды, приступив к обучению в Университете, я отправился за какой-то справкой в районную поликлинику, прихватив с

собой роман «Братья Карамазовы», сложная философская подоплёка которого тогда занимала моё воображение. Стояли ещё погожие осенние деньки. Я был достаточно легко одет. Для меня предметом щегольства были синие фирменные джинсы и бежевый берет, который, как я думал, придавал мне вместе с шарфом такого же цвета сходство со свободным художником.

Ожидая времени выдачи справки, я углубился в чтение романа. Случайно подняв глаза, я вдруг увидел напротив себя милостивое лицо скромной и серьёзной девушки, исподволь посматривавшей на меня. На этом наше знакомство и закончилось, потому что через приоткрывшуюся дверь кабинета строгий женский голос выкликнул мою фамилию. Получив выписку, я вновь оказался в коридоре. Там уже никого не было...

Взяв в гардеробе свою куртёнку и прижимая к рёбрам увесистый том Достоевского, я вышел на улицу. Поликлиника находилась в одном из переулков, спускающихся от Остоженки к набережной Москвы-реки.

Дохнуло прохладой, ароматы осени смешивались с тяжёлыми запахами, идущими от проезжей части. Я ускорил шаг. Неожиданно впереди себя я не без волнения приметил тоненькую фигуру незнакомки, привлекавшей моё внимание полчаса назад. Барышня шла очень медленно. Она, очевидно, никуда не спешила, а может быть, чего-то ожидала... Поравнявшись с ней, я деликатно поздоровался и затем спросил: «У вас всё хорошо?» Она утвердительно кивнула своей изящной головкой. Так мы познакомились. Её звали Н. Жила она совсем неподалёку, близ Садового кольца. Мы разговорились. Н училась тогда в десятом классе и готовилась к поступлению на один из естественных факультетов Московского университета. Мне, только что прошедшему через Сциллу и Харибду⁴¹ приёмных экзаменов, было чем с ней поделиться. Незаметно пешком мы добрались до её дома и, кажется, не без обоюдного желания договорились встретиться как-нибудь ещё раз...

ИЗБАВЛЕНИЕ. 1 И 2 СТРАНИЦЫ ГЛАВЫ

Постепенно, по мере общения, у нас возникло взаимное дружеское расположение, которое, как вы, наверное, успели догадаться, переросло (с моей стороны, во всяком случае) во влюблённость...

Рад сообщить вам, мои «сотаинники», что посетившее меня чувство было благородным и чистым. По крайней мере, оно казалось мне таковым. Никакие недостойные помыслы не искушали моё юное сердце, готовое изречь обеты верности и любви властительнице его тайных дум.

Малое время спустя я впервые увидел её интеллигентных родителей, которые с гостеприимством приняли меня у себя дома. Общий язык с папой-биологом был найден весьма скоро. Владея английским, он очень любил читать в подлиннике Шекспира и потому охотно предложил мне просмотреть ценное дореволюционное собрание сочинений великого драматурга (на языке оригинала). Лучшего продолжения знакомства

и предположить было невозможно... В мыслях я уже называл N своей невестой и будущей супругой. Всё было бы прекрасно, если бы не наш юный возраст... и её непонятная для меня «охлаждённость чувств», которая исподволь начинала проявляться.

На исповеди в родном храме я не раз признавался батюшке в своём сердечном пристрастии и решительном желании связать свою судьбу с N, которая, к моему огорчению, оказалась некрещеной (как и её родители). Отец Пётр Дьяченко, ныне покойный, только вздыхал и участливо повторял в ответ на мои исповедальные признания: «Артемий, дорогой, не торопись; ты же потеряешь всю свою духовность...» Признаюсь, я горько сетовал на маститого протоиерея, замечания которого о какой-то моей «духовности» наполняли сердце чувством недоумения...

Шли месяцы... Моё чувство, а вместе с тем и намерение остепениться (в восемнадцать-то лет!) лишь возрастали. Время от времени мы гуляли с N в парке, как правило, молча, и

я не мог отделаться от ощущения: между нами стояла невидимая стена. Пытливо вглядываясь в N, всматриваясь в милое, слегка веснушчатое лицо, я всякий раз усматривал в её глазах некую печаль, о причинах которой догадаться мне было тогда не дано. В ней как бы недоставало жизни... Поступив в Университет, она, к сожалению, стала покуривать, что совсем не соответствовало моим представлениям о женственности. Помнится, я даже клал утром и вечером земные поклоны, моля Господа и Богородицу, чтобы N отрешилась от столь глупой и вредной привычки...

Наконец настал момент (дело было в начале лета), когда я осознал, что у меня нет более сил терпеть скрытую неопределённость наших взаимоотношений. Встретившись с N (которая, кстати сказать, никогда не отказывалась от прогулки по бульварам Москвы), я со всей открытостью неравнодушного сердца произнёс:

– Любовь – это такое чувство, которое не может приневоливать и подавлять другого

человека. Ну, если есть что-то, препятствующее тебе соединить со мною судьбу, скажи не таясь; я всё приму как волю Божию. Прошу тебя только об одном: будь со мной откровенна...

Н взглянула на меня своими прекрасными грустными глазами и, заметно нервничая, с дрожью в голосе глухо произнесла:

- Не сейчас. В воскресенье...
- Где же мы встретимся?
- У фонтана, близ метро «Арбатская»⁴²...

Мы расстались, а в душе моей прозвучало тайное слово: это навсегда...

Случилось так, что накануне я договорился со своими ближайшими родственниками Серовыми приехать к ним на дачу, в Соколову Пустынь, близ города Ступино, по Павелецкой дороге... Это место нашего с братьями отдыха было мною особо любимо и связано с незабвенными детскими воспоминаниями.

Дневным субботным поездом я достиг Ступина и, втиснувшись в набитый дачниками автобус, благополучно доехал до Соко-

ловки. Не без волнения я вступил в пределы того села, в котором не был с отроческих лет. Оно располагается на живописном берегу реки Оки и является излюбленным дачным местом для многих москвичей, в частности, творческой публики. Как ни странно, я не сумел (!) найти дом, где Серовы снимали дачу в то лето, и вернулся на автобусную остановку, когда день уже клонился к закату. Честно признаться, мною более владели мысли о завтрашней встрече, чем о постигшей меня в тот день неудаче. Сердце волновалось и само взывало к Богу. Почему-то я решил не ждать рейсового автобуса, но просто побродить по сосновому бору, двигаясь в направлении Ступина, хотя этот путь никто бы не назвал близким...

Это была первая ночь, когда меня никто не ждал и не искал: ни родственники на даче, очевидно, решившие, будто я изменил свои планы, ни родители в Москве, уверенные, что сын благополучно достиг цели загородного путешествия. Я бы никогда не поверил, скажи мне кто-либо неделю назад: ты про-

ведёшь целую ночь в лесу, непрестанно взывая: «Боже, милостив буди мне, грешному!» У меня не было тогда ни страха потеряться, ни опасения встретить незнакомого человека, но лишь неизбывное чувство оставленности, неприкаянности, сиротства, побуждавшее в слёзной молитве обращаться к Небесному Отцу.

Всю ночь до рассвета я бродил по лесу и плакал, и молился (наподобие лермонтовского Мцыри). Слава Богу, не встретил на своём пути ни «злого чечена», ни разъярённого барса! Душа чувствовала, что Господь где-то рядом, совсем близко, что, слыша и видя всё, внимая моим стенаниям, Он не даст меня в обиду...

Ранним поездом, так и не сомкнув глаз, я прибыл в Москву и к назначенному времени оказался на станции метро «Арбатская». Душа, на удивление, была спокойна и мирна. После невольного «всенощного бдения» в лесу она как будто получила укрепление и чувствовала себя защищённой свыше...

Я сразу увидел N, которая сидела близ

фонтана и нервно курила сигарету. Я подошёл к ней и поздоровался. Ответив кивком на моё приветствие, она никак не могла начать разговор...

– N, я прошу тебя, скажи всё, как есть, поверь, я пойму...

– Артемий, я давно должна была тебе сказать: полтора года назад я сблизилась с другом нашей семьи, аспирантом с моего факультета, и мы... сейчас живём с ним... ну, как супруги... у нас с ним всё было, что может произойти между мужчиной и женщиной.

Воцарилось молчание... Я тихо спросил N:

– Но почему же ты мне не говорила об этом раньше?..

– N-не могла, – ответила она и неуверенным движением руки бросила дымящуюся сигарету на асфальт...

Мне трудно вспомнить, дорогие друзья, свои последние слова перед расставанием... Ведь с тех пор я не видел N никогда... Кажется, это было искреннее пожелание: «Будь счастлива, прощай и прости...»

Мы разошлись в разные стороны...

А что же дальше? А дальше наступило время тяжкого внутреннего испытания. Мне тогда казалось, что душа была разорвана на две половины... Невыносимая тяжесть пригибала меня к земле. Благодарение Господу за то, что я ходил в Божий храм и имел понятие о молитве!.. Именно она, глубинная молитва, поднимавшаяся из недр сердца, сама взывала к Богу о пощаде, «ослабе и избе» и неприметно приносила мне облегчение и успокоение. Но затем снова наваливалась непомерная тяжесть утраты, и вновь в жалобном, беспомощном поскуливании к Отцу Небесному я обретал силы к бытию. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...»

Лишь годы спустя я воспринял всё происшедшее со мной не как жестокий удар, но как неизреченную милость Божию. По истине, «большое видится на расстояньи»... Что бы было со мной, развернись события иначе, по банальному сценарию?.. Ясно одно: я никогда бы не смог обрести то призвание, которое составляет существо всей моей

жизни, мне не суждено было бы стать священником Живого Бога. И уж, конечно, вы, столь близкие мне ныне люди, никогда бы не смогли прочитать эти исповедальные строки...

Прошли десятилетия... Но и сейчас пред моим мысленным взором распахивает объятия ночной сосновый лес, вырисовываются в сумерках бесконечные песчаные холмы, присыпанные бурой, потемневшей от росы опавшей хвоей... Вижу непроницаемое, покрытое тучами небо, наползающее на верхушки деревьев... и одинокого худощавого юношу, медленно бредущего вдоль мачтовых молчаливых сосен, которые приклоняют к нему пушистые ветви, колеблемые слабым ветерком... Не разбирая дороги и не ища тропинки, он, устремив взор куда-то вдаль, вслух произносит слова покаянной молитвы: «Боже, милостив буди мне, грешному, укрепи и поддержи меня!» – зная, что эти стройные исполины, соединяющие в высоте свои пахучие кроны, никогда и никому не выдадут его сердечной тайны...

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Наша студенческая юность протекала в относительно спокойное и безопасное время, когда народ был не слишком запуган разбойниками и уж совсем не думал о внешней агрессии со стороны «зарубежных партнёров». Мощный ядерный щит наращивал новые и новые слои противоракетной обороны, на которую уходила большая часть государственного бюджета. Небо было чистым, а морально устойчивые пограничники несли свой неусыпный дозор по «периметру контурной карты» Советского Союза... Но мало кто из молодёжи знал правду истории. Средства массовой пропаганды делали всё, чтобы запереть её на засовы и замки. Мёртвые не могли ничего сказать, а живых свидетелей заставляли давать подписку о неразглашении.

Я помню со школьных лет, как страна гудела, словно разворошённое осиное гнездо, когда посмевшего «жить не по лжи»⁷⁰ выслали под улюлюканье колхозников и неис-

кренние аплодисменты советской интеллигенции⁷¹ в далёкий немецкий город Франкфурт-на-Майне. Что мы, подростки, могли понять тогда в искусно отрежиссированном за кремлёвскими стенами позорном спектакле?

Расскажу кратко о запавшей в моё сердце встрече с неким Геннадием. Молодой, с правильными чертами лица бородатый мужчина напоминал мне одного из героев тургеневских романов. Я вместе с братом-близнецом Дмитрием, тогда студентом Консерватории, попал к Геннадию в гости благодаря общим друзьям.

Хозяин был женат, имел ребёнка и занимался... философией. В отличие от наших университетских преподавателей, он изучал её из любви к Божественной мудрости как воцерковлённый православный христианин. Мне было приятно смотреть на его породистое лицо, высокий лоб и вдумчивые глаза. Говорил он степенно, время от времени поглаживая свою фигурно выровненную бородку. Геннадий беседовал с нами как

с равными, размышляя о судьбах отечественной философии и особенностях русского религиозного сознания. Я мог только лишь многозначительно кивать головой, слыша ещё незнакомые мне имена Шпета и Степуна, Розанова и Булгакова. Геннадий явно переоценивал интеллект семнадцатилетних юношей, едва вынырнувших из потока школьного, казённого образа мысли.

Видя в нас доверчивых и благоговейных слушателей, философ (впоследствии я почему-то называл его про себя Гена-пророк) разоткровенничался и поведал нам печальную историю своих взаимоотношений с солженицынским «Архипелагом ГУЛАГ». Получив на руки западное портативное издание этого эпохального произведения, отпечатанное на папиросной бумаге, он должен был прочитать его за двое суток! Дочитывал уже на работе в учреждении, где наш философ имел присутственные дни. Вдруг в помещение быстро вошли сотрудники Комитета⁷² с обыском. Видимо, кто-то «из лучших побуждений» донёс на неблаго-

намеренного коллегу... Геннадий, успев прихватить с собой три «преступных» томика⁷³, спрятался в уборной. Не имея иной возможности выйти из создавшегося положения, он стал рвать «ГУЛАГ» на части и спускать начертанное кровью «свидетельство обвинения» в унитаз. Не без сокрушения сердца Гена-пророк поведал нам в исповедальном духе эту необычную историю. Провожая нас до двери, он задумчиво сказал: «Каждый человек, живущий в России, обязан прочитывать «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына». Образ гонимого советскими бюрократами домашнего философа произвёл на меня, юношу, тянущегося к правде жизни, сильное впечатление... Мне всё больше и больше хотелось познакомиться с запрещённым цензурой эпохальным трудом Солженицына.

Признаюсь, что к нам в дом время от времени попадали отпечатанные на машинке иные романы этого автора. Особенно мне запомнился эпизод из «Ракового корпуса», где описывается реакция главного героя

(самого автора?) на первые минуты, проведённые им на воле после многих лет заключения. Подвижник писатель рассказывает об ошеломившем его, почти забытом чувстве свободы, когда не было нужды опасаться ни грубого окрика конвоира, ни подозрительно-враждебного ока надзирателя, а в ушах не стояла умерщвляющей словесной завесой матерная брань уголовников. Каждый зелёный листочек, каждый солнечный луч, лившийся сверху, и, наконец, бескрайнее голубое небо были символами неописуемой благодати бытия! Обратив внимание на хмурые лица куда-то спешащих людей, бывший каторжанин чуть не захлебнулся от внутреннего возмущения. Как?! Они не видят, не понимают, не хотят знать, что им дано в слове «свобода»?!

Безусловно, эти и им подобные строки, принадлежащие великой русской литературе, уже никогда не могли быть вытравлены из моей памяти... Юная душа училась тогда думать, размышлять и делать выводы...

В своё время «ГУЛАГ» дошёл и до нашего

дома. Это было то же папиросное издание в трёх карманных пухлых томиках. Его нельзя было выносить из дома и надлежало вернуть в определённый срок. Нехитрые уроки конспирации в те годы усваивались сами собой. Скажу кратко: прочтение этой книги было целой вехой в моей жизни. Читая её, я забыл обо всех и обо всём. Не помню, что я ел и сколько спал во время общения с солженицынской летописью! Я прочитывал главы: от ареста и первой одиночной камеры до описания жизни малолеток, родившихся в ГУЛАГе, – не глазами, не умом и даже не сердцем, но нервами, жилами, каждой клеточкой моего тела! Страшная, но столь необходимая нам правда о двадцатом веке в России входила в душу и наполняла её страданием... Годы, числа, цифры и факты, факты, факты... Судьбы простых юношей и девушек, писателей и колхозников, комсомольцев и военных, священников... Судьбы мужественных и бескомпромиссных русских людей, смалываемых страшным багряным драконом, испещрённым именами

богохульными⁷⁴... По завершении чтения каждой главы романа я испытывал нестерпимую внутреннюю боль и, буквально катаясь по дивану, выл, взывал к небу со словами: «Господи, что же это такое? Почему? Зачем? Как всё это может быть?!» Слава Богу, никто из родных не был тому свидетелем! В моей голове с пульсирующей в висках кровью тогда мучительно рождалось убеждение: вечности не может не быть, она существует. И только *sub specie aeternitatis*⁷⁵ можно принять такую историю России с неизбывной трагедией её народа! Впоследствии я плакал и над теми страницами знаменитого «Отца Арсения», где описывается, как истощённый, но не сломленный духом священник, выйдя по освобождению за ворота лагеря, слышит воюющий, раздражающий слух звук бензопилы и, оглядывая заснеженную тайгу, усеянную тысячами мёртвых тел сгинувших здесь людей, также сначала восклицает: «Почему, Господи?!», а затем никнет долу головой, застыв на мёрзлой земле, безмолвно вверяя всё это, непости-

жимое ни рассудком, ни сердцем человеческим, неисследимому, премудрому и всеблагодарному Промыслу Господню...

А ещё меня пронзила в «ГУЛАГе» тема потери и обретения автором веры. Вместе с ним её терял и обретал я, русский юноша двадцатого столетия, составлявший плоть от плоти и кровь от крови своего удивительного народа. И когда я прочёл солженицынское стихотворение⁷⁶ о том, как под барабанный пионерский бой он, мальчик, не заметил тихо рассыпавшегося храма чистой детской веры, я впервые заплакал о себе самом, и скорбно-сладкие слёзы насквозь промочили тончайшую папиросную бумагу, тотчас вздувшуюся пупырышками у меня под руками.

Да когда ж я так допуста, дочиста Всё развеял из зёрен благих? Ведь провёл же и я отрочество В светлом пении храмов Твоих! Рассверкалась премудрость книжная, Мой надменный пронзая мозг, Тайны мира явились – постижными, Жребий жизни – податлив как воск. Кровь бурлила – и каждый

выполоск Иноцветно сверкал впереди, – И, без грохота, тихо рассыпалось Зданье веры в моей груди. Но пройдя между быти и небыти, Упадая и держась на краю, Я смотрю в благодарственном трепете На прожитую жизнь мою. Не рассудком моим, не желанием Освещён её каждый излом – Смысла Высшего ровным сиянием, Объяснившимся мне лишь потом. И теперь, возвращённою мерою Надчерпнувши воды живой, – Бог Вселенной! Я снова верую! И с отрекшимся был Ты со мной...

«Судьбы скрещенья»... Несколько месяцев спустя я вновь заступил на вахту ночного дежурства в Ильинском храме вместе со своим добрым приятелем, также студентом филфака, Александром Троицким, ныне священником⁷⁷. Александр выделялся среди нас, единомышленников, замечательно уравновешенным характером и большой начитанностью в духовной литературе. Это был настоящий книжник, прекрасно ориентировавшийся в старопечатных изданиях, в

том числе и «глаголемых старообрядческих». Беседы с ним долгими вечерами доставляли мне подлинное удовольствие. Мы говорили обо всём на свете, размешивая ложечками сахар в гранёных стаканах и неспешно попивая чаёк под уютными сводами нашего любимого храма. Александр, с его доброжелательной неизменной улыбкой, привлекал меня широтой своего кругозора и основательностью познаний, чему я, признаюсь, несколько завидовал. А что завидовать? Нужно было меньше нервничать и переживать по всякому пустяшному поводу да больше заниматься самообразованием, сказал бы я сейчас.

Александр отличался удивительным «нюхом» на всякую старину, особенно литературно-исторического характера. Както мы получили «послушание» от маленькой и юркой матушки Анны Николаевны (давно взявшей меня под своё покровительство) забраться на церковный чердак и, по возможности, навести там порядок. Думаю, что лет пять там уж точно никого не

бывало, судя по количеству пыли, осевшей на всякой рухляди. Наверное, только американские космонавты, вдосталь набродившиеся по лунным кратерам в своих чудо-костюмах, смогли бы меня понять. Особых костюмов у нас не было, но зато присутствовал спортивный интерес покопаться в этом неизвестном никому из непосвящённых тайнике. Покуда я перекладывал с места на место какие-то балки и коробки, Александр молча возился со старыми церковными журналами и ещё не знаю с чем. Через час-другой послышался тоненький голосок нашего командира, матушки Анны, приглашавшей попить чаю и отдохнуть немного от трудов в этой лавке забытых и никому ненужных древностей.

Отряхивая прах с брюк и пиджаков под ласково-благодарное оханье матушки: «Вы уж простите меня, сердечные, что я вас в такую пылищу загнала», – мы спустились по узенькой лестнице вниз, осторожно пригибая головы, чтобы не набить шишек о святые храмовые стропила. Когда всё

угомонилось и двери были заперты нами на засовы, Александр Троицкий с таинственным видом и неизменной улыбкой на лице спросил меня: «Артемий, не желаешь ли познакомиться с чем-то весьма занимательным? Только это большая тайна!» Выразив живейший интерес, я вплотную придвинулся к нему. Посторонних свидетелей разговора, кроме угодников Божиих, строго смотревших на нас из иконных кивотов, не было. «Архивный юноша» бережно вынул из внутреннего кармана своего скромного ворсистого пиджака две ветхие квитанции и поднёс их к моим глазам... Что же это было? Церковные документы. Один – о венчании Александра Исаевича Солженицына с его супругой, другой – о крещении в нашем храме их двоих детей. Без всяких комментариев хранитель раритетных ценностей спрятал квитанции на груди, и мне вдруг стало понятно, что они принадлежат отныне истории, хотя и будут сокрыты до времени в надёжных и чистых руках...

Сегодня многотомные произведения ве-

ликого русского писателя двадцатого столетия украшают собой книжные полки тех, кто некогда крепко сидел на ветвях того самого развесистого дуба коммунистической идеологии, с которой отчаянно бодался неразумный телёнок⁷⁸... И сочувствовавшие, и гнавшие Солженицына ходят теперь по улице, названной его именем, близ метро «Таганская».

Продолжая свой очерк, расскажу вам о своей встрече с совершенно другим по духу русским писателем – Владимиром Набоковым, которого с Солженицыным роднит единый общий жребий – многие годы жизни, проведённые вдали от Родины.

Совсем недавно мне пришлось в поисках исчезнувших следов моей прапрабабушки Луизы Севей, швейцарки по происхождению, посетить страну «вечного нейтралитета»⁷⁹ и чудный городок на берегу Женевского озера, Лозанну, откуда та была родом. Побродив по узким улочкам своей исторической прародины, я направился на близлежащее кладбище с намерением найти

могилу Владимира Набокова. Не считая себя поклонником этого писателя, я ценю в нём непревзойдённого знатока русского и английского языков. Согласитесь, не всякий служитель русского слова дерзнёт перевести на природный язык англосаксов роман в стихах⁸⁰ бессмертного Пушкина! Постояв в молчании у могилы Набокова, под сенью древнего вяза, я спустился вниз к озеру в местечке Монтрё, одном из самых живописных уголков Европы. Здесь расположен роскошный старинный отель, в котором любил проводить по нескольку недель Владимир Набоков. Перед дворцовым зданием, почти близ водной глади, на зелёной травке выставлены бронзовые скульптуры видных деятелей культуры и искусства, останавливавшихся в отеле на протяжении двадцатого столетия. Увидел я и нашего даровитого писателя, сидящего в кресле в своей любимой позе – нога на ногу – и о чём-то, не без оттенка грусти, размышляющего. Мне показалось, будто он, погрузившись в мир воспоминаний, был готов в любую минуту

встать, едва лишь в дверь постучится долгожданный гость...

Чуть позже мне рассказали, что в этом фешенебельном отеле для состоятельной публики должна была состояться встреча Набокова с четой Солженицыных, перебравшихся вскоре из Германии в Швейцарию. Договорённость была достигнута заранее, обсуждены время и место rendezу⁸¹, но... случилось недоразумение, как это часто бывает под луной. Набоковы не перезвонили, не считая нужным давать подтверждение, а Солженицыны, может быть, ещё не вошедшие в безмятежную колею западно-европейской жизни, почему-то посчитали, что встреча не состоится. Владимир Набоков терпеливо ждал, сидючи в своём плетёном кресле на балконе, поглядывая на Женевское озеро с его ласкающими взор видами... и... думал о России, в которую возвращаться не хотел (она была уже не та), но без которой он не мог жить, как и все подлинно русские люди. Мало того, он мечтал и умереть за неё, ибо сердце

настоящего художника не может не быть там, где произносится «осанна» невинными страдальцами за правду...

Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывёт кровать; и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула, где спички и часы лежат, в глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, – вот-вот сейчас пальнёт в меня! – я взгляда отвести не смею от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания коснётся тиканье часов, благополучного изгнания я снова чувствую покров.

Но, сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звёзды, ночь расстрела и весь в черёмухе овраг! ⁸²

БИТВА

Вновь и вновь, дорогие читатели, мне приходится приглашать вас зайти под своды храма Пророка Божия Илии, что во 2-м Обыденском переулке. Этот поначалу деревянный храм⁸³, воздвигнутый русскими людьми «обыдень», был посвящён святому пророку-громовержцу, в день памяти которого так часто идёт дождь, избавляющий поля и огороды от засухи, а людей – от летнего зноя. Впоследствии облекшись в камень, храм в двадцатом веке принял под свой кров знаменитую и любимую москвичами чудотворную Богородичную икону «Нечаянная Радость покаяния». По названию образа прихожане и сама церковь именуют «Нечаянною Радостью».

Я помню, как ещё Патриарх Пимен читал по пятницам перед чудотворной святыней акафист, вкладывая в каждое «радуйся» всю невысказанную драму своей архипастырской души. Если будете в Обыденской церкви, друзья, обратите внимание на

иконы в местном ряду главного (Ильинского) придела. Говорят, они принадлежат самому Симону Ушакову и представляют собой подлинное сокровище Московской школы иконописи. Слева от Царских врат располагается Казанский образ Богоматери. На мой взгляд, это одна из самых дивных икон Царицы Небесной на свете! Писанная богатыми и очень нежными, как бы матовыми, лёгкими красками, она являет лик Пречистой Девы не выразимой никаким человеческим словом красоты. Можно сказать об этом иконописном чуде лишь одно: Богородица смотрит на вас... живая! «О эти голубиные очи!» – так с сыновним дерзновенным восторгом восклицал о Ней праведный отец Иоанн Кронштадтский, и мы вслед за ним... Пречистая взирает на вас с высоты небесной славы и являет Свою материнскую близость каждой человеческой душе, в которой Она видит таинственный образ Сына, доверительно почивающего на Её руках. Что нам, «грешным и обремененным», открывается в бездонных, как небо,

очах Пресвятой Девы? И предельная радость богообщения, о которой Она гласно засвидетельствовала по пути в нагорную страну: ...Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боже Спасе Моем...⁸⁴ И крестная мука сострадания к гибнущему человечеству, которое через Неё обретает свет воскресения и жизнь вечную в лице Богоотрока Господа Иисуса Христа. Далёкая и близкая, светлая и печальная, зрящая то, что было, и то, что будет, и никогда не отвращающая Своего вещего лика от «мира холодного»...

Признаюсь, когда служба шла в главном приделе, я всегда так пристраивался с правой стороны, чтобы без конца, сколько захочу, смотреть на мою любимую икону. Она, как море, постоянно меняющееся под лучами движущегося по небосводу солнца, никогда не была одинаковой. О сколько раз Пречистая утешала меня, горюющего о своих греховных падениях, всепроникающим благоуветливым взором! Сколько раз успокаивала, ободряла, помогала обрести

почву под ногами, спасая от крайнего смятения и даже отчаяния. Об этом, даст Бог, я расскажу отдельно, ибо невозможно на одной странице объять необъятное!

Чем же был для меня этот образ? Выражением простоты, участливости, деликатного внимания, ненавязчивого понимания, сокровенной помощи, «светом радости в мире печали», поддержкой в безвремении, вдохновением на покаянные труды, свидетельством вечной девствующей женственности, цветущей красоты материнства, провозвестницей детства во Христе, покровом и оправданием на Суде Божиим... Я верю, милые мои читатели, что вы почувствуете в этих строках абсолютную искренность, идущую из самой глубины сердца, и не найдёте ни малейшего словесного украшения, которое бывает подобно увядшим и опавшим лепесткам розы, поскольку не несёт в себе дыхания животворящей благодати...

В общении с этой иконой протекала моя студенческая жизнь, в память чего я и по-

ныне каждый раз, как захожу в свою комнату, зажигаю по вечерам прозрачную лампаду перед её фотографическим изображением. Часто просыпаясь среди ночи, вижу: Царица Небесная со Своей едва заметной материнской улыбкой бдит над моей душой, равно и над всеми Своими чадами, ограждая их неусыпным предстательством от зол и напастей...

Сегодня я хочу поведать об одном памятном сражении, которое волею судеб выпало на мою студенческую долю. С великим удовольствием выполняя обязанности церковного дежурного, как-то на вечерней службе я подошёл к Анне Николаевне, ведавшей почти всеми хозяйственными делами храма. Она, как всегда, приветливо улыбнувшись, сказала мне: «Привезли покойничка, сегодня тебе придётся с ним заночевать». Не придав особого значения её словам (всякое бывает), я по завершении службы следил, как прихожане неспешно покидали храм. У нас не было принято ходить из придела в придел и с ничего не выражающей механи-

ческой интонацией говорить: «Освободите помещение, храм закрывается!..» Верующие сторожа понимали, что народу дороги эти последние минуты, когда служба уже отошла и в наступившей тишине, при мерцании лампад, можно от избытка сердца ещё две-три минуты помолиться Господу и Его святым.

Впрочем, Анна Николаевна, искушённая тридцатилетним служением в храме Божиим, часто наставляла нас, университетскую молодёжь: «Родные мои! Уж сейчас глаз да глаз нужен! Время-то настало лютое, люди и Бога бояться перестали! Вот, говорят, в одном храме жулик спрятался, залезши под аналой! Прямо, как в домике, внутри него и остался, а только все ушли, вылез, окаянный, и ограбил храм! Так что вы смотрите в оба да аналои двигайте. Не приведи Господь, кто-то притаится внутри. Сейчас всего ожидать можно...» Взбудораженные подобным инструктажем, мы бдительно осматривали каждый уголок храма, заглядывая и на клиросы, и в алтарь, в кото-

ром ещё отчетливо ощущалось благоухание хорошего «росного» ладана, воскуряемого диаконом во время службы, когда тот неспешно «помавает» старинным серебряным кадиллом.

В памятную смену я дежурил почему-то один. В левом приделе святых апостолов Петра и Павла, рядом с кануном, на покрытой ковром дубовой скамье стоял гроб. Крышка оставалась в притворе, а лицо почившего было прикрыто саваном – белой погребальной тканью с изображением Распятия и орудий Страстей Христовых. Отпевание, как правило, бывает после литургии, но многие православные люди, следуя неписаному обычаю, стремятся поставить гроб с телом почившего сродника в храме накануне вечером. Анна Николаевна, завершив свои бесчисленные дела, приготовив на завтра вино и просфоры, свежие полотенца, собралась идти к себе в каморку на колокольню, где обычно она проводила короткую ночь в преддверии утренних трудов. Прощаясь со мной, Анна Николаевна, полу-

прикрыла свои маленькие добрые глазки и увещательно промурлыкала:

– Ну, спокойной ночи, с Богом. Не бойсь, Артёмочка, покойничек-то хороший...

Поклонилась по-монашески и засеменила вверх по крутым ступенькам в свой терем-теремок.

Почему-то слова о благонадёжности покойничка и хорошем его ко мне отношении отозвались лёгкой тревогой в сердце юного студента. Признаюсь, друзья, я не из храброго десятка, хотя теперь понимаю, что такое мужество. Оно, по объяснению мудрых, состоит не в том, чтобы вовсе не бояться, но в том, чтобы уметь доводами разума преодолевать страх...

Сделав всё необходимое по своей службе, я прочитал вечернее молитвенное правило и вдруг осознал, что остался совершенно один. Впрочем, не один, а с Богородицей, со святыми, лики которых были кое-где полусвещены горящими лампадами. Принеся раскладушку и матрас в центральный придел, я приготовил себе нехитрое ложе, гото-

вась отойти ко сну, всегда беспокойному по причине чувства ответственности за сохранность Божиего храма.

Должен вам сказать, что многие вещи, сработанные из дерева, разошедшегося за долгие годы, имеют свойство самопроизвольно потрескивать от малого перепада температуры или слабейшего сквозняка. Деревянные киоты, скамьи, церковные прилавки (так называемые ящики) – вся эта фурнитура⁸⁵ обладает подобным свойством. И, конечно, гробы, наспех сколоченные мастерами из плохо пригнанных друг ко другу досок.

Перекрестившись и поклонившись в сторону своей любимой Казанской иконы, я лёг на «одр» с обычной для православных молитвой: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой; Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь».

Следуя ценному совету из Молитвослова, я не забыл осенить крестным знаменем четыре стороны света. Лёг. Но сон, как вы мо-

жете догадаться, не приходил ко мне... Едва лишь я накрылся испытанным временем ватным одеялом, как моё чуткое ухо, казалось, выросшее в одиночасье до размера слоньего, уловило какие-то подозрительные звуки!

Тррык! Тррак! Раздавшийся скрип заставил меня похолодеть от ужаса. Я повернулся на живот и зарылся лицом в подушку в слабой надежде, что эта мера водворит полную тишину в окружающем меня пространстве. Но не тут-то было! Адский треск вновь повторился (как по заказу), только в два раза громче. В моей бедной душе сами собою припоминались все будоражащие кровь сюжеты из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», которые я прочитал некогда с ребячьим любопытством. Не зря, не зря Николай Васильевич Гоголь покаялся в написанном и даже торжественно отрёкся от этих произведений, как доносят потомству биографы великого русского писателя! Картины, одна другой ужаснее, разворачивались перед моим мысленным взором.

Сейчас я пишу об этом легко и, может быть, не без известного чувства юмора. Но тогда... Тогда намокла не только моя майка, но даже рубашка и свитер (мне пришлось лечь не раздеваясь) были влажными от холодного пота.

Тррык! Тррак! Мне представилось, что покойничек (при всех его добрых качествах, в которых я и не думал усомниться!) медленно сел в гробу и, потянувшись после долгого лежания, осторожно, чтобы не упасть, начал перекидывать сначала одну, а потом и вторую ногу через стенку обшитого тафьёй гроба... Услышь я вслед за тем ещё нечто, хотя бы отдалённо напоминающее шаги (благодаря разыгравшемуся воображению), мне было бы, наверное, не суждено написать эти воспоминания о «юных днях»...

Но не забудьте, насмерть перепуганные вместе со мной читатели: всё происходило в православном храме, а ваш покорный слуга имел живую веру в Бога и умел (как-никак) по-детски молиться Божией Матери. Кусая подушку зубами, я ни за что не желал вста-

вать и идти осматривать придел, где лежал (или уже не лежал?) «хороший покойничек». Мне дано было понять, с каким бесовским страхованием я тогда имел дело. Уйдя в молитву умом, сердцем, головой, ногами, кожей, внутренностями, я взывал к Небесной Заступнице всем своим существом. «Мать Божия, помоги, заступи, защити, покрой! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, помилуй мя, грешного!» Страх сразу уходил, становилось спокойно, я разжимал зубы и поворачивался лицом в сторону Казанской иконы, освещённой лампадкой из красного стекла. И вдруг снова: тррак, тррык! Я вздрагивал, словно обожжённый разрядом электрического тока, – и мне чудилось, что покойничек, неслышными стопами достигши центрального придела, уже заносит надо мною руку, чтобы, прикоснувшись хладными перстами к моей спине, ласково и примирительно со мною поздороваться...

«Мать Божия, Пречистая, Пресвятая, огради, помилуй! Господи, силою Честнаго

и Животворящего Креста, спаси, сохрани, помилуй!»

Вновь пароксизм⁸⁶ мертвящего страха отступал, а я (задним умом) осознал: всё хорошо, милостивый Господь не попустит случиться (тем паче в Его собственном жилище!) ничему недоброму. Так и прошла та памятная ночь, завершилась битва с невидимыми взору «духами злобы поднебесной», а равно и с гнездившимися, быть может, с детских лет в глубинах моего сердца неизжитыми страхами.

Только под утро, в предрассветные часы, я забылся сном. По звонку будильника, ровно в шесть часов, я вскочил с раскладушки. Через решётчатые окна храма лился неясный свет едва забрезжившего дня. Быстро ополоснув лицо и раскрыв внутренние железные двери храма, я принялся зажигать лампадки, предварительно очищая от нагара замасленные фитильки. С икон на меня смотрели хорошо мне знакомые небесные друзья: с большой залысиной и сединой на висках Никола Милостивый, защитник сирот и вдовиц;

сидящий на белом коне святой мученик Трифон, поборник христиан в сражении с падшими духами; преподобный Серафим, старческий и исполненный пасхальной любви лик которого побудил меня забыть все ночные страсти-мордасти. Казанская икона никогда не оставалась без зажжённой лампы и в ночные часы. Небесно чистый, озарённый духовной радостью лик Приснодевы едва приметно улыбался мне, взъерошенному мокрому воробью, только начинавшему жить по-христиански. Вот появилась и дражайшая матушка Анна Николаевна.

– Ну как, Артёмушка, всё спокойно, ночь прошла хорошо?

– Слава Богу, матушка, никаких происшествий!

– Ну, вот и славно, поди ты сейчас на учење спешишь, поспать-то дома нет возможности?

– Даст Бог, часок-другой отдохну, если вы меня отпустите.

– Ну и ступай себе с Богом, Артёмушка, ступай.

С лёгким сердцем, почти не чуя собственного тела, я шагал вдоль 2-го Обыденского переулка к нашему подъезду. Удивительное дело! Душа, изнутри согреваемая накопленной за бурную ночь невещественной теплотой, пела, как зяблик на утренней заре: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших!..»

ПРАКТИКА

Мне повезло. Я был направлен на педагогическую практику в замечательное учебное заведение – математический интернат для старшеклассников имени академика А. Н. Колмогорова. Располагается эта школа не так уж далеко от Университета, в районе Давыдково, близ речки Сетунь, которая отделяет Давыдково от Матвеевского района, а там – рукой подать и до самой Альма-матер, отовсюду видной благодаря гигантскому шпилю главного здания.

Большинство студентов-филологов должны были проходить педагогическую практику в средних учебных заведениях, хотя глубокой и основательной подготовки к этому роду деятельности у нас не было, как это имеет место в профессионально ориентированных на преподавание вузах.

Колмогоровский интернат не принадлежал системе среднего образования и пользовался высоким покровительством самого Университета. Дело в том, что большинство

учеников, одарённых мальчиков и девочек, поступивших сюда из разных уголков России, нацеливались на мехмат и физфак МГУ либо поступали в другие учебные заведения наподобие Физтеха¹²⁴ или МИФИ. Конечно, я призван был пробовать свои творческие силы вовсе не в физике и математике – науках, представленных в интернате могучими силами блестящих университетских преподавателей. Поприще филолога – русский язык и литература, словесность.

Меня весьма приветливо встретила учительница среднего возраста, Галина Васильевна, с короткой стрижкой под мальчика и светлой, доброжелательной улыбкой. Сразу было видно, что она любит детей, любит своё дело, – словом, чувствует себя в школе как рыба в воде. Всё это меня очень ободрило, ибо, во-первых, я никогда не отличался мужественным характером, а во-вторых, меня несколько страшила перспектива выйти навстречу вундеркиндам, юным интеллектуалам, каковыми действительно и были вихрастые мальчики и де-

вочки с косичками, учившиеся здесь в девярых-десятых классах. Что и как я им скажу? А вдруг они будут задавать мне каверзные вопросы? Сумею ли я привлечь их внимание, да так, чтобы мне не пришлось воевать с архаровцами (к чему я решительно не был готов)?

Эти, а может быть, и десяток других вопросов теснили и волновали грудь молодого человека, стоявшего на пороге призвания. Да-да, любезные читатели! К концу своей не такой уж и длинной практики я больше чувствовал сердцем, чем осознавал умом, что обрёл свою стезю, встать на которую меня влекло Провидение.

Когда-нибудь я напишу об этом иную книгу (если будут силы, время и необходимое уединение) и назову её, быть может, «Учительство»... Но вернёмся к нашему повествованию.

Галина Васильевна доверила мне преподавание русской классической литературы, а себе взяла советскую. Я был ей чрезвычайно благодарен, потому что преподавать Мая-

ковского и Шолохова, с их новым «социалистическим сознанием», честно говоря, не смог бы. К этому времени моя душа была уже в полной мере воцерковлена, и я оценивал творчество писателей совершенно иначе, нежели это предписывали школьные методические пособия.

Слава Богу, атмосфера в интернате значительно отличалась от обычных учебных заведений столицы. Вольный, а лучше сказать, привольный дух Университета проникал сюда и оседал в сердцах, несмотря на бдительно сторожившего детские души цербера, имя которому – Министерство просвещения. Впрочем, давление шло не только от Минпроса, но и от всей «идеологической надстройки», весившей в десятки раз больше, чем сам бедный «базис», имеваемый производственной мощью Советского Союза.

Я прошу, друзья, позволения (знаю, что вы мне не откажете) описать вам один урок, который, может быть, имел место не на самой практике, а позже, когда я был взят в

интернат в качестве штатного учителя. Память не позволяет мне со всей точностью это определить. Но как бы то ни было, прочитанное, надеюсь, вполне убедит вас, что после священства нет призвания выше учительского.

Речь пойдёт об уроке литературы в девятом классе и о программном произведении дореволюционного драматурга А. Н. Островского «Гроза». Советская трактовка образа Катерины с лёгкой руки революционно-демократического литературного критика Добролюбова была однозначной. Несчастливая героиня пьесы, задавленная условностями «тёмного царства», то есть патриархального быта исторической России, нарушает супружескую верность, изменив мужу с приезжим Борисом. Доведённая до отчаяния собственной («не просвещённой революционным свободомыслием») совестью и жестокостью окружавших её бездушных, неспособных к состраданию людей, она бросается в Волгу, оставленная своим возлюбленным в самую

тяжёлую для неё минуту. Советское литературоведение, вслед за безумным (с моей точки зрения) Добролюбовым, в самоубийстве главной героини видело протест против вековых устоев «тёмного царства» и оправдывало Катерину, будто бы принёсшую себя в жертву будущему ниспровержению «проклятого царизма». По изучении произведения все школьники Советского Союза должны были писать сочинение на тему «Луч света в тёмном царстве». Это название добролюбовской статьи соотносилось с самой Катериной, одобрить страшный поступок которой должен был каждый старшеклассник как итог своего раздумья над несчастной судьбой русской женщины из купеческого сословия.

Христианская совесть восставала против чудовищной «стандартной» трактовки пьесы русского драматурга. Самая статья Добролюбова, которую я прилежно проштудировал перед уроком, повергла меня в ужас! По воззрению молодого, рано умершего критика¹²⁵, нельзя не посочувствовать

Катерине, однако другого выхода у неё и не было... а содеянное ею самоубийство прекрасно и заслуживает безоговорочного одобрения публики, поскольку продвигало вперёд дело революции, которая наконец-то расставит всё по своим местам.

Эта ложная философия жизни меня настолько возмутила, что, готовясь к уроку, я чуть не задохнулся от негодования на всех разночинцев, вместе взятых, и от обиды за русских детей, которые должны были поверить в эту галиматью. Не в галиматью, а в наглый и безнравственный обман! Ведь не сегодня завтра, окажись в подобной ситуации «наши девочки, мальчики наши»¹²⁶, как они, имея гораздо менее жизненных сил, чем Катерина (дитя мирной патриархальной эпохи), тотчас начнут «сигать», и заметим, не в реку, а с многоэтажных высотных зданий¹²⁷. Разве сможет тогда их любимый учитель простить себя за поставленную некогда жирную пятёрку в конце бездумного, типового сочинения, одобрявшего самоубийство – самый страшный из всех человеческих грехов?

Теперь вы понимаете, почему я так переживал и мучительно искал выхода из, казалось, безвыходного положения, в которое был загнан жёсткими рамками школьной методики преподавания. Не только искал и думал, но и... молился. И что же?.. Бог мне помог! Как всегда – чудесным образом! Не зная, что и предпринять, я стал грустно осматривать огромный книжный стеллаж, простиравшийся по длине почти всего коридора в нашей квартире на Остоженке, и взял первый попавшийся том русского писателя Куприна. Книга раскрылась на неизвестном мне дотоле рассказе «Страшная минута». Начав читать это произведение и весьма увлечьшись драматичным, искусно разработанным сюжетом, я убедился, что Куприн почти один в один повторяет фабулу пьесы Островского, но с совсем иной концовкой! Эврика! Выход из тупика найден! Я возьму на себя смелость занять два урока и прочитаю моим любимым «математикам» весь рассказ, сделав необходимые купюры и убрав из текста чувственные под-

робности, до которых Куприн был большой мастер и охотник...

Не посвятив в свой замысел Галину Васильевну, которая, конечно же, не разрешила бы мне дерзко попортить учебный план, детально расписанный на год вперёд, я пришёл на урок с томиком Куприна в руках. После прочтения рассказа мне хотелось дать детям сочинение по сравнительной характеристике двух героинь – Островского и Куприна. Собственная юность и упование на Божию помощь вселяли в меня дерзновение к осуществлению этой педагогической авантюры...

А теперь, дорогие друзья, займусь кратким переложением купринского рассказа, который, если захотите, вы можете прочитать и сами (с купюрами или без купюр – по вашему усмотрению).

Главная героиня произведения – Варвара Михайловна Рязанцева – молодая и красивая русская женщина. Она замужем за милым толстяком, похожим на Пьера Без-

ухова по характеру и повадкам. Супружеская дворянская чета живёт в своём родовом поместье в одной из южных губерний России. Варвара совершенно счастлива. Она всей душой любит своего несколько наивного и преданного ей супруга, которому подарила долгожданное дитя – их общую радость и утешение. Так бы и текла их безмятежная семейная жизнь по размеренному и ровному руслу, если бы не одно происшествие, в реальность которого Варвара никогда бы не поверила, расскажи ей кто об этом ранее.

Обитателей небольшого уездного городка достигла весть о приезде некоего загадочного господина, о котором успело распространиться много разных домыслов. Дамы были от него без ума (талантливо выписанный автором герой отчасти напомнил мне пушкинского Сильвио из повести «Выстрел»), их мужья смотрели на незнакомца с некоторым недоверием, но все без исключения хотели видеть приезжего у себя и наперебой зазывали в гости. Слух о его

галантном обхождении и красоте голоса (господин никогда не отказывался от приглашения спеть) буквально облетел весь городок. К радости хозяев имения, Дон Гуан (так я его назвал про себя) обещался быть у них в воскресный день.

В назначенный час брички, кабриолеты и экипажи с приглашёнными гостями съехались в имение. Дамы, обмахиваясь веерами из-за душной погоды (к вечеру ожидали грозу), оживлённо обсуждали последние новости, а мужчины толпились у ломберного столика и в преддверии обеда утешали себя рюмочкой отменного горячительного напитка. Вдруг всё смолкло: главный гость приехал. Через минуту в залу вошёл Ржевский, действительно не напрасно ставший властителем дум местного общества. Прекрасной наружности, высокий, стройного телосложения господин был одет в чёрный костюм с иголки, с бриллиантовой заколкой «в галстухе», ослепительно сверкавшей под разреженными лучами огромной люстры.

Учтиво всем поклонившись и извинив-

шись за опоздание, он подошёл к хозяину поблагодарить его за приглашение и затем поцеловал руку хозяйке. Прикладываясь к её белым пальчикам, гость метнул на Варвару огненный взор, который, впрочем, тотчас отвёл в сторону. Так испанский идальго, случайно выпростав убийственный кинжал, поспешно прячет его под складками своего плаща...

Разговоры длились бы бесконечно, если бы хозяин не стал приглашать всех к столу. По окончании обильной трапезы гости стали дружно просить Варвару помузицировать, чтобы Ржевский спел что-нибудь на радость собравшимся. Тот и не думал скромничать

ПРАКТИКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Едва лишь хозяйка стала наигрывать совместно выбранную ими вещицу, её партнёр запел своим бархатистым баритоном уверенно и страстно. Он не сводил глаз с молодой женщины, как будто романс был посвящён именно ей. Тяжёлое облако окутало сердце прекрасной героини. Она всем существом ощутила никогда не испытанное дотоле искушение...

Может быть, ей это всё только кажется, может быть, ею завладело глупое самообольщение? Но голос звучал всё настойчивее и призывнее. Стоя рядом с ней, гость как бы случайно коснулся рукой её обнажённого плеча. Варвара вздрогнула. А нужно ли бороться с внезапно вспыхнувшим желанием? Сверкнуть падающей по осеннему небу звездой – а уж после – будь, что будет? Однако совесть отчаянно сопротивлялась преступным помыслам и взывала к здравому смыслу...

Не буду подробно описывать внутреннее

смятение, заполонившее сердце героини, сходное с бурей в душе несчастной Катерины Островского. Застолье подошло к концу. Когда уже смеркалось и ветром поднятые клубы пыли свидетельствовали о приближающейся непогоде, гости начали спешно прощаться и разъезжаться по домам.

«Если муж предложит ему остаться, значит... это судьба», – лихорадочная мысль пронзила, словно молния, сознание героини. Супруг, несколько растерянный дружным уходом гостей, и в самом деле предложил Дон Гуану – Ржевскому остаться у них до утра. Тот благодарственно и многозначительно кивнул. Варвара поспешно удалилась в свою комнату. Она пыталась молиться перед старинной иконой Спасителя, но слова молитвы почему-то не затрагивали её сердца.

Надвигалась гроза. Ветер рвал кроны плодовых деревьев, тревожно шумевших за окном. Тучи сплошь заволокли небо, которое час тому назад было совершенно без-

облачным и ясным. Хозяин, оставшиеся немногочисленные гости и прислуга разошлись по своим комнатам. Всё стихло. Одна лишь Варвара, ещё одетая в вечернее платье, стояла у окна, прижав руки к пылающим щекам. С выражением непонятной муки на лице она резким движением распахнула настежь створки большого окна. Ветер, ворвавшийся вместе с ночной прохладой, обвил её занавесью, как будто желая отвлечь замужнюю женщину от чего-то непорядочного.

В тот же миг слышались тихие звуки знакомой серенады. Виртуозно напевая мелодию, Дон Гуан приближался, двигаясь вдоль стены дома со стороны сада. Варвара стояла ни жива ни мертва. Отпрянуть назад, убежать, сокрыться или... ринуться вперёд... и погубить себя? В это мгновение её слух был поражён ужасным раскатом грома, грянувшим прямо над головой.

Где-то наверху, в мансарде, слышался детский плач.

– Мама, мама, Бог на небе сердится!..

Варвара, которая, в своём помрачении, за весь вечер ни разу не вспомнила о ребёнке, всплеснула руками, повернулась... и стрелой помчалась к дочурке. Обнимая её и бесконечно целуя заплаканные глазки, она сама наконец-то заплакала. Счастливые слёзы струились по её прекрасному лицу...

А там, за окнами, хлестал ливень. Его первые крупные капли прибили к земле поднятую ветром дорожную пыль. Разразилась гроза. Страшная минута прошла...

...Закончив чтение, я, сделав паузу, взглянул на притихший класс... Одна милая девушка с длинной русой косой, услышав завершение рассказа, так светло улыбнулась, с облегчением выдохнув задержанный в груди воздух, что я понял: по крайней мере, одна душа уже никогда не станет жертвой «тёмного царства» греха... Пусть же Господь простит мне бессовестное нарушение методических инструкций и почасовых планов Министерства просвещения!

ИЗБАВЛЕНИЕ

1 И 2 СТРАНИЦЫ ГЛАВЫ

Как по-разному, дорогие мои собеседники, можно судить о влюблённости, о том, что большинству из нас, несомненно, хорошо знакомо и что мы с улыбкой вспоминаем, оборачиваясь мысленно к годам своей ушедшей юности.

Одним образом воспринимается влюблённость подростками, для которых вдруг начинают «сады цвести»; иначе оценивают её родители, сами испытавшие некогда то же удивительное чувство, когда придирчиво взирают на своих уязвленных «стрелой любви» отпрысков. Прав, прав премудрый царь Соломон, изрекший, что каждой вещи своё место под солнцем⁴⁰. Пусть всё приходит в надлежащее ему время. «Важен результат», – говорят практики.

Для кого-то из молодых людей влюблённость оборачивается плотским падением и потерей девства вне ограды установленного Богом супружества. Не мне вам говорить,

что ныне творится в нашем Отечестве, разучившемся в духе доброй нравственности воспитывать сбитую с толку молодёжь. Зачастую и сама-то влюблённость почитается испытанными всё и вся подростками-переростками смешным анахронизмом, не стоящим никакого обсуждения. Лишённые и лишившие себя высокой романтики любви, бедные современные митрофанушки, с их преждевременной усталостью от жизни, очень быстро опускаются и морально, и физически, превращаясь в юных старичков.

А иных влюблённость окрыляет, заставляет работать над собой, приподымает над обыденной, серой действительностью, сообщая им силы и вдыхая в них целеустремлённость. Так бывает, если полюбившие друг друга молодые люди стараются не нарушать определённых границ в общении, видя в семье великий Божий дар, ради которого можно и должно сразиться с самим собой и с немощью собственной плоти, чтобы впоследствии с чистой совестью и радостным сердцем ступить на белоснежный плат венчания.

Не скрою: некоторые православные писатели прошлого именовали влюблённость болезненным состоянием, мешающим духовному саморазвитию человека... Что они имели в виду? Я думаю, видели опасность для юного христианина в невольной идеализации предмета своей любви, когда человек, забывая Творца, не чувствует нужды в Его животворящей благодати, но всецело направляет «души прекрасные порывы» к той земной личности, без которой, кажется, не в состоянии прожить ни минуты. Теряя равновесие внутренних сил, молодой человек лишается и естественного дара рассудительности, становится способным к импульсивным, непродуманным поступкам, бывает склонен в одиночасье самостоятельно принимать такие решения, о которых вскоре ему приходится горько жалеть.

Однажды, приступив к обучению в Университете, я отправился за какой-то справкой в районную поликлинику, прихватив с собой роман «Братья Карамазовы», сложная философская подоплёка которого тогда

занимала моё воображение. Стояли ещё погожие осенние деньки. Я был достаточно легко одет. Для меня предметом щегольства были синие фирменные джинсы и бежевый берет, который, как я думал, придавал мне вместе с шарфом такого же цвета сходство со свободным художником.

Ожидая времени выдачи справки, я углубился в чтение романа. Случайно подняв глаза, я вдруг увидел напротив себя милое лицо скромной и серьёзной девушки, исподволь посматривавшей на меня. На этом наше знакомство и закончилось, потому что через приоткрывшуюся дверь кабинета строгий женский голос выкликнул мою фамилию. Получив выписку, я вновь оказался в коридоре. Там уже никого не было...

Взяв в гардеробе свою куртёнку и прижимая к рёбрам увесистый том Достоевского, я вышел на улицу. Поликлиника находилась в одном из переулков, спускающихся от Остоженки к набережной Москвы-реки. Дохнуло прохладой, ароматы осени смести-

вались с тяжёлыми запахами, идущими от проезжей части. Я ускорил шаг. Неожиданно впереди себя я не без волнения приметил тоненькую фигуру незнакомки, привлечшей моё внимание полчаса назад. Барышня шла очень медленно. Она, очевидно, никуда не спешила, а может быть, чего-то ожидала... Поравнявшись с ней, я деликатно поздоровался и затем спросил: «У вас всё хорошо?» Она утвердительно кивнула своей изящной головкой. Так мы познакомились. Её звали Н. Жила она совсем неподалёку, близ Садового кольца. Мы разговорились. Н училась тогда в десятом классе и готовилась к поступлению на один из естественных факультетов Московского университета. Мне, только что прошедшему через Сциллу и Харибду⁴¹ приёмных экзаменов, было чем с ней поделиться. Незаметно пешком мы добрались до её дома и, кажется, не без обоюдного желания договорились встретиться как-нибудь ещё раз...

ИЗБАВЛЕНИЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Постепенно, по мере общения, у нас возникло взаимное дружеское расположение, которое, как вы, наверное, успели догадаться, переросло (с моей стороны, во всяком случае) во влюблённость...

Рад сообщить вам, мои «сотаинники», что посетившее меня чувство было благородным и чистым. По крайней мере, оно казалось мне таковым. Никакие недостойные помыслы не искушали моё юное сердце, готовое изречь обеты верности и любви властительнице его тайных дум.

Малое время спустя я впервые увидел её интеллигентных родителей, которые с гостеприимством приняли меня у себя дома. Общий язык с папой-биологом был найден весьма скоро. Владея английским, он очень любил читать в подлиннике Шекспира и потому охотно предложил мне просмотреть ценное дореволюционное собрание сочинений великого драматурга (на языке оригинала). Лучшего продолжения знакомства

и предположить было невозможно... В мыслях я уже называл N своей невестой и будущей супругой. Всё было бы прекрасно, если бы не наш юный возраст... и её непонятная для меня «охлаждённость чувств», которая исподволь начинала проявляться.

На исповеди в родном храме я не раз признавался батюшке в своём сердечном пристрастии и решительном желании связать свою судьбу с N, которая, к моему огорчению, оказалась некрещеной (как и её родители). Отец Пётр Дьяченко, ныне покойный, только вздыхал и участливо повторял в ответ на мои исповедальные признания: «Артемий, дорогой, не торопись; ты же потеряешь всю свою духовность...» Признаюсь, я горько сетовал на маститого протоиерея, замечания которого о какой-то моей «духовности» наполняли сердце чувством недоумения...

Шли месяцы... Моё чувство, а вместе с тем и намерение остепениться (в восемнадцать-то лет!) лишь возрастали. Время от времени мы гуляли с N в парке, как правило, молча, и

я не мог отделаться от ощущения: между нами стояла невидимая стена. Пытливо вглядываясь в N, всматриваясь в милое, слегка веснушчатое лицо, я всякий раз усматривал в её глазах некую печаль, о причинах которой догадаться мне было тогда не дано. В ней как бы недоставало жизни... Поступив в Университет, она, к сожалению, стала покуривать, что совсем не соответствовало моим представлениям о женственности. Помнится, я даже клал утром и вечером земные поклоны, моля Господа и Богородицу, чтобы N отрешилась от столь глупой и вредной привычки...

Наконец настал момент (дело было в начале лета), когда я осознал, что у меня нет более сил терпеть скрытую неопределённость наших взаимоотношений. Встретившись с N (которая, кстати сказать, никогда не отказывалась от прогулки по бульварам Москвы), я со всей открытостью неравнодушного сердца произнёс:

– Любовь – это такое чувство, которое не может приневоливать и подавлять другого

человека. N, если есть что-то, препятствующее тебе соединить со мною судьбу, скажи не таясь; я всё приму как волю Божию. Прошу тебя только об одном: будь со мной откровенна...

N взглянула на меня своими прекрасными грустными глазами и, заметно нервничая, с дрожью в голосе глухо произнесла:

– Не сейчас. В воскресенье...

– Где же мы встретимся?

– У фонтана, близ метро «Арбатская»⁴²...

Мы расстались, а в душе моей прозвучало тайное слово: это навсегда...

Случилось так, что накануне я договорился со своими ближайшими родственниками Серовыми приехать к ним на дачу, в Соколову Пустынь, близ города Ступино, по Павелецкой дороге... Это место нашего с братьями отдыха было мною особо любимо и связано с незабвенными детскими воспоминаниями.

Дневным субботним поездом я достиг Ступина и, втиснувшись в набитый дачниками автобус, благополучно доехал до Соко-

ловки. Не без волнения я вступил в пределы того села, в котором не был с отроческих лет. Оно располагается на живописном берегу реки Оки и является излюбленным дачным местом для многих москвичей, в частности, творческой публики. Как ни странно, я не сумел (!) найти дом, где Серовы снимали дачу в то лето, и вернулся на автобусную остановку, когда день уже клонился к закату. Честно признаться, мною более владели мысли о завтрашней встрече, чем о постигшей меня в тот день неудаче. Сердце волновалось и само взывало к Богу. Почему-то я решил не ждать рейсового автобуса, но просто побродить по сосновому бору, двигаясь в направлении Ступина, хотя этот путь никто бы не назвал близким...

Это была первая ночь, когда меня никто не ждал и не искал: ни родственники на даче, очевидно, решившие, будто я изменил свои планы, ни родители в Москве, уверенные, что сын благополучно достиг цели загородного путешествия. Я бы никогда не поверил, скажи мне кто-либо неделю назад: ты про-

ведёшь целую ночь в лесу, непрерывно взывая: «Боже, милостив буди мне, грешному!» У меня не было тогда ни страха потеряться, ни опасения встретить незнакомого человека, но лишь неизбывное чувство оставленности, неприкаянности, сиротства, побуждавшее в слёзной молитве обращаться к Небесному Отцу.

Всю ночь до рассвета я бродил по лесу и плакал, и молился (наподобие лермонтовского Мцыри). Слава Богу, не встретил на своём пути ни «злого чечена», ни разъярённого барса! Душа чувствовала, что Господь где-то рядом, совсем близко, что, слыша и видя всё, внимая моим стенаниям, Он не даст меня в обиду...

Ранним поездом, так и не сомкнув глаз, я прибыл в Москву и к назначенному времени оказался на станции метро «Арбатская». Душа, на удивление, была спокойна и мирна. После невольного «всенощного бдения» в лесу она как будто получила укрепление и чувствовала себя защищённой свыше...

Я сразу увидел N, которая сидела близ

фонтана и нервно курила сигарету. Я подошёл к ней и поздоровался. Ответив кивком на моё приветствие, она никак не могла начать разговор...

– N, я прошу тебя, скажи всё, как есть, поверь, я пойму...

– Артемий, я давно должна была тебе сказать: полтора года назад я сблизилась с другом нашей семьи, аспирантом с моего факультета, и мы... сейчас живём с ним... ну, как супруги... у нас с ним всё было, что может произойти между мужчиной и женщиной.

Воцарилось молчание... Я тихо спросил N:

– Но почему же ты мне не говорила об этом раньше?..

– Н-не могла, – ответила она и неуверенным движением руки бросила дымящуюся сигарету на асфальт...

Мне трудно вспомнить, дорогие друзья, свои последние слова перед расставанием... Ведь с тех пор я не видел N никогда... Кажется, это было искреннее пожелание:

«Будь счастлива, прощай и прости...»

Мы разошлись в разные стороны...

А что же дальше? А дальше наступило время тяжкого внутреннего испытания. Мне тогда казалось, что душа была разорвана на две половины... Невыносимая тяжесть пригибала меня к земле. Благодарение Господу за то, что я ходил в Божий храм и имел понятие о молитве!.. Именно она, глубинная молитва, поднимавшаяся из недр сердца, сама взывала к Богу о пощаде, «ослабе и избе» и неприметно приносила мне облегчение и успокоение. Но затем снова наваливалась непомерная тяжесть утраты, и вновь в жалобном, беспомощном поскуливании к Отцу Небесному я обретал силы к бытию. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...»

Лишь годы спустя я воспринял всё происшедшее со мной не как жестокий удар, но как неизреченную милость Божию. Поистине, «большое видится на расстоянии»... Что бы было со мной, развернись события иначе, по банальному сценарию?.. Ясно одно: я никогда бы не смог обрести то призвание,

которое составляет существо всей моей жизни, мне не суждено было бы стать священником Живого Бога. И уж, конечно, вы, столь близкие мне ныне люди, никогда бы не смогли прочитать эти исповедальные строки...

Прошли десятилетия... Но и сейчас перед моим мысленным взором распаивает объятия ночной сосновый лес, вырисовываются в сумерках бесконечные песчаные холмы, присыпанные бурой, потемневшей от росы опавшей хвоей... Вижу непроницаемое, покрытое тучами небо, напозающее на верхушки деревьев... и одинокого худощавого юношу, медленно бредущего вдоль мачтовых молчаливых сосен, которые приклоняют к нему пушистые ветви, колеблемые слабым ветерком... Не разбирая дороги и не ища тропинки, он, устремив взор куда-то вдаль, вслух произносит слова покаянной молитвы: «Боже, милостив буди мне, грешному, укрепи и поддержи меня!» – зная, что эти стройные исполины, соединяющие в высоте свои пахучие кроны, никогда и никому не выдадут его сердечной тайны...